

Об Александре Твардовском я услышал в детстве, при обстоятельствах, можно сказать, необычных. Придется начать издалека.

Мои родители выросли в многодетных семьях. У отца было двенадцать братьев и сестер, а у матери — восемь. К Отечественной войне сыновья и зятя моих бабушек оказались в расцвете сил и в первые же месяцы ушли на фронт. У одной бабушки там полегли два сына, зять и внук, а у другой — сын и зять. Но четверо моих дядей с той и другой стороны вернулись домой. Погибших я знаю только по фотографиям, а вернувшихся — какими они пришли с войны — помню цепкой и незамутненной детской памятью. Они очень отличались от деревенских парней и мужиков, которым не довелось воевать. Если я скажу, что они были бедовыми, то это будет правда, но не вся. Казалось, что они увидели вдали от дома такое, после чего не может быть страха. Ни перед чем и ни перед кем. Так мне запомнилось.

Один из фронтовиков, дядя Вася, бабушкин зять, был особым еще и по-своему. Он слыл первым в деревне плотником и столяром. В разные годы срубил два дома для себя и не меньше десятка — для родственников. Всю мебель в своей избе после войны он смастерил сам: отличный пательный шкаф, который, по-темнев от времени, стоит в доме тети до сих пор, комод, буфет, не говоря уже о столах, лавках и табуретках. Дядя Вася хорошо рисовал. Моя бабушка, его теща, плуце всех довоенных фотографий хранила большой портрет погибшего сына, почти мальчика, которого нарисовал дядя Вася. Этот портрет и сейчас цел.

Но самым козырным — для деревни — талантом бывшего пехотинца был сочинительский. Дядя смолodu писал стихи. Такому дару мои земляки удивлялись, им восхищались и, при случае, хвастались перед заезжими, как своим собственным. Стихи Василия Максимовича шли гвоздем программы в редких клубных концертах, им отводили видное место в колхозной стенгазете. Случалось, от них плакали: когда дядя «продергивал» кого-нибудь в стихах, то его едкие куплеты повторяли наизусть месяцами.

Как у многих сочинителей, у дяди Васи имелись и литературный кумир. Это был Твардовский. Не знаю, боготворил ли мой родственник Александра Трифоновича до войны, но после фронта он помнил автора «Василия Теркина» чуть не каждый божий день. Особенно часто, с радостным возбуждением, при выпивках. В близкой понимающей компании Василий Максимович то и дело пересыпал разговор строчками Твардовского. К концу застолья прославленные стихи шли все гуще: память захмелевшего дяди не только не притуплялась, а словно бы включала новую скорость. Без запинки читал он большие куски из поэм, короткие и длинные стихотворения Твардовского. А ночью нередко происходило и вовсе удивительное. Спокойно уюмившись в постели и провалившись в сон, мой фронтовик начинал произносить, строка за строкой, какую-нибудь главу «Василия Теркина». Звучно, почти трезвым голосом, то весело частя, то отчетливо произнося каждое слово, он выговаривал:

*Жить без пищи можно сутки,  
Можно больше, но порой  
На войне одной минутки  
Не прожить без прибаутки,  
Шутки самой немудрой.  
Не прожить, как без махорки,  
От бомбежки до дурагой,  
Без хорошей поговорки  
Или сказки какой...*

Вышло так, что в моей памяти строки Твардовского перемешались с разговорами самими житейскими: о покосе в близких березовых копках, об отведенной деляне, где можно рубить жерди для изгороди, о хлебах, которые смял ночной байкаль-ский ветер.

Строки дядиногo поэта, особенно из «Страны Муравии» и «Василия Теркина», были родственны мужицким толкам о самом насущном; у тех стихов и этих разговоров имелась одна основа, о которой я, конечно, не задумывался тогда.

Крестьянская работа открывалась нашему брату не из книг. Но когда ты знал, что, к примеру, попевшая трава легче косится на утренней зорьке, при крупной росе, которая словно бы «смазывает» при косье литовку, а голос со стороны напоминал тебе о том же самом в певучих и емких стихах, — эта подсказка запоминалась навек:

*Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.  
Такое завет и звук такое,  
И по косе вдоль жала,  
Смывая мелочь лепестков,  
Роса ручьем бежала.  
Покос высокий, как постель,  
Ложился, взбитый пышно,  
И непростокий сонный имел  
В покосе пел чуть слышно.*

В глухой и далекой от поэта стороне Твардовский западал в детскую душу потому, что он знал подоготнутой нашей нищей поселевонной жизни. Ну, скажите, в чьих еще стихах наши бы вы картину, повсеместно наблюдаемую в крестьянских дворах после войны (пусть Твардовский написал это еще в тридцатых, для меня было важно, что он знал такую бездну нищеты):

*А в избе, что сенила у него без сени, —  
Только голые стены да куча детей.  
А коровку — единственного хвост на дворе —  
На холстах, на веревках таскал в январе.  
Двор стоял, точно шапка у пьяницы, крыло,  
Мыши с голоду дохли, полаяда в сусек.  
И скрипел журавель на колоде тоскливо,  
Чтобы помнил о жизни своей человек.*

«Изда сгнила без сени», думал я, потому, что до войны хозяин так и не собрался или не нашел силенок пристроить сени, а без него жена-солдатка пустила на дрова даже и ветхое крыльцо. «Коровку» «на веревках таскал в январе» — потому что от бескомиссии ее уже не держали ноги, приходилось подсовывать под живот веревки или холстину и, как на помочах, подтягивать к какой-нибудь дворовой перекладне. Не говоря уж о мышах, которые с голоду дохли в бесследной избе. Тут каждый штрих был верен, перенесен из глубины народной жизни, тут каждая строка почиталась святой правдой. И как же было не запомнить такого поэта! Я видел двух своих дедов, когда мой знаток Твардовского читал наизусть «Про Данилу» — про того старого крестьянина, который имел привычку спозаранку обегать чуть ли не все артельное хозяйство, примечая каждый изъян. Даже председатель интересовался его высоким мнением:

*— Как погода — постоит,  
Данила Иваныч?  
И, задушившись слежка,  
Молвит бед солидно:  
— Постоять должна пока,  
Постоят, как видно...*

В таких стихотворных строчках не было ошелмляющих поэтических образов. Какой-нибудь ценитель литературной формы мог сказать, что нет новизны. Но новизна тут — это очарование тона, подлинность даже самого малого бытового штриха, непринужденность лирического рассказа. И еще в стихах Александра Твардовского была душевная, доверительная, родная по духу и форме исповедь — о том, чем же дорога нам наша трудная, не раз вслух клятая и втайне благословляемая судьба:

*Нет, жизнь меня не обделила,  
Добром своим не обошла.  
Всего с лихвой дано мне было  
В дорогу — света и тепла.  
И сказок — треплетную память,  
И песен матери родной,  
И старых праздников с попами,  
И новых с музыкой уной.  
И в захолюстье, потрясенном  
Всемирным чудом наших дней, —  
Старинных зим с певучим стоном*

## Андрей РУМЯНЦЕВ «Нет, жизнь меня не обидела...»

К 110-летию Александра Твардовского

*Далеких — за лесом — саней.  
И весен в дружном развороте,  
Морей и речек на дворе,  
Икры лягушечей в болоте,  
Смогы у осен на коре.  
И летних гроз, арибос и ягод,  
Росистых троп в траве алужой,  
Пастушьих радостей и тягот,  
И слез над книгой дорогой.  
И ранней горечи в боли,  
И детской мстительной мечты,  
И дней, не высиженных в школе,  
И босоты, и наготы.  
Всего — и скудости унылой  
В потемках отчего ула...*

*Нет, жизнь меня не обделила,  
Добром своим не обошла...*  
Позже, на исходе отрочества, придя на филологический факультет университета, я увидел, что и для моих студенческих товарищей Твардовский среди всех современных поэтов стоит наособицу, в строгом классическом ряду. Это сейчас кое-кто пытается поддерживать миф о том, что в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов пришли, мол, особые таланты, потрясатели литературных основ, и вывели новую поэзию в многолюдные аудитории. На самом деле, для знатоков и ценителей

происходил из деревни, но особенно потому, что все происходившее там в годы «великого перелома» составляло для меня самый острый интерес и задачу жизни».

«...составляло для меня самый острый интерес и задачу жизни» — это сказано в глубинном смысле слов. Жестокая ломка крестьянского уклада перевернула судьбу и семьи Твардовских, и самого поэта. Ключок земли, болотистый, заросшей кустами и деревьями, «скупой и недоброй», хуторской домишко и незавидное хозяйство при нем — все, что отец Трифон Гордеевич, кузнец и пахарь, нажил тяжким и долгим трудом, было отобрано; его с женой и младшими детьми выслали как кулака на восток, в таежные гиблые места. Александр Трифонович, живший тогда в Смоленске, избежал этой участи, но трагедия семьи до смерти оставалась незаживающей раной в его душе.

Так что строки поэмы были оплачены Твардовским собственными страданиями. В главах «Страны Муравии» то тут, то там прорыва-

ются приметы жестокого времени — и каждый раз отмечаешь для себя, что подлинный поэт никогда не лукавит ни перед собой, ни перед сильными мира сего...

...Но сказать о том, что в русскую лирику вошел еще один крестьянский поэт, пусть и яркий, было бы в этом случае нелепостью. Твардовский имел за-тваску не только крестьянскую; Бог дал ему редкую способность с юности понять русскую народную судьбину — то знание, которое позже станет и глубоким, и всеобъемлющим и поможет поэту показать русского человека в его подлинном виде и на полях величайшей войны, и на невиданном миром стройках, обновивших ледяную, глухую-манную Сибирь.

Твардовский не искал укрытий от бурь своего времени. В 1939 году, призванный в армию, он участвовал в походе наших войск в Западную Белоруссию, а зимой следующего года попал на советско-финскую войну. Увиденная вблизи война, пусть и не принесшая удач Красной Армии, предопределила поворот поэты к другой теме, вроде бы не совпадающей с первой, крестьянской, — к теме задуманной им тогда и написанной позже «Книги про бойца». Но это на первый взгляд кажется, что у поэм «Страна Муравия» и



русской лирики эстрадные массовки настырных стихотворцев казались, говоря по-теперешнему, обыкновенными шоу, а истинная поэзия жила своей жизнью, захигаясь не от всплеске идеологического психоа, а от потрясения народной судьбы. С эстрады несло (Вознесенский):

*Под брандспойтом шosse  
мои уши кружились,  
как мельницы (?)*

Или (Евтушенко):  
*Границы мне мешают... Мне неловко  
не звать Бузнос-Айреса, Нью-Йорка.  
Хочу шапаться, сколько надо, Лондоном,  
со всеми говорить — пускай на ломаном.  
Среди этой туфты мы искали и находили живые  
строки подлинной поэзии, не назойливо оплывавшей, а строго звучащей в безмолвном зале библиотек или в притихших студенческой комнате. И как часто это был Твардовский!*

*Мне славы тлен — без интереса  
И власти мелочная страсть.  
Но мне от утреннего леса  
Нужна моя на свете часть;  
От уходящей в детство степи  
В бору пахучей конопил;  
От той березовой сережки,  
Что майский дождь прибьет в пыли;  
От моря, моющего с леной  
Каменья теплых берегов;  
От песни той, что юность пела  
В свой век — особый из веков;  
И от победы и от победы —  
Любой людской — нужна мне часть,  
Чтобы видеть все и все изведать,  
Всему не издали учась...*

\*\*\*  
Чем же завоевал Александр Твардовский свою высокую поэтическую власть?

Как известно, Твардовский вошел в русскую литературу — или ворвался? — своей поэмой «Страна Муравия», написанной им в возрасте двадцати четырех — двадцати шести лет. Позже он признавался: «Во всех тогдашних делах деревни я разбирался порядочно, — не только потому, что сам

*Казалось, мальчик не лежал,  
А все еще бегом бежал,  
Да пед за полу придержал...  
Среди большой войны жестокой,  
С чего — ума не приложу,  
Мне жалко той судьбы далекой,  
Как будто мертвый, одинокий,  
Как будто это я лежу,  
Примерзший, маленький, убитый  
На той войне незначимой,  
Забитый, маленький, лежу.*

Для того, что читает стихи отстраненно, в этих строках нет зацепок; взгляд не натывается на украшения, слух не улавливает звона. А того, кто сопереживает автору, сразу остановят штрихи пронзительные, раз и навсегда запоминающиеся, болезненные, как укол. «По-детски маленькое тело» погибшего юного солдата «лежало как-то неумело»; он оставался на льду, «примержший, маленький, убитый». Понимаешь, что правда войны, ее чудовищная жестокость и требовали простых слов, повторяющихся, как в тяжелом

забытии, жалаящих сердце, отсекающих слезы. Все время кажется, что Твардовский открыл какой-то свой секрет в поэзии: стихотворение передает «огоненную» суть происшедшего, а впечатление такое, что оно полно художественно выверенных и незабываемых подробностей. Это был действительно секрет. Не каждому поэту удавалось вернуть поэтичность, художественную выразительность словам коренным, значительным по смыслу.

\*\*\*  
Когда-то Максимилиан Волошин, художник, поэт, литературный критик, в статье «Поэты русского склада» высказал одно интересное суждение. В обыденной речи интеллигентов, в том числе и поэтов, заметил он, много слов стертых, невыразительных, а также иностранных, не имеющих русской окраски. Из-за этого речь наша выглядит бесцветной. Нужно черпать в отечественных словарях и в живой народной речи понятия красочные, многозначные, меткие. Но не менее важно для поэта, продолжал Волошин, воссоздать тот синтаксис, тот склад и тот ритм, которые присущи русской речи, живой, напевной и выразительной. Для многих стихотворцев все это — за семью печатями.

Это глубокое замечание вспоминается, когда читаешь стихи и поэмы Александра Твардовского. Новизна его поэтического стиля, народность его поэтического языка не в том, что он использует фольклорную речевую стихию — пословицы, поговорки, присказки; как раз их-то в произведениях Твардовского немного. Новизна и народность его поэзии в том, что, во-первых, он воссоздал словесное богатство разговорной русской речи, в которой меткое слово, новая присказка и поговорка словно бы творятся на твоих глазах, рождаются по тем естественным законам, по которым складывается живой разговор. Во-вторых, поэт воссоздал богатый, гибкий, естественный синтаксис народной речи. Тут надо было иметь и цепкую память, сохранившую строй такой речи, и интуитивную способность легко и непринужденно воспроизводить этот строй. В-третьих, поэмы и стихотворения Твардовского в удивительном многообразии передали ритм, «музыку» живого разговора, его интонационное и фонетическое богатство. Иными словами, здесь схвачены и мастерски переданы богатейшие возможности нашего родного языка, его выразительность, точность, художественная красота.

\*\*\*  
В поэме «Василий Теркин» эта особенность Твардовского проявилась во всей привлекательности и новизне.

«Книга про бойца» — уникальное произведение русской поэзии. Оно создавалось не так, как обычно пишутся сочинения. Здесь сама жизнь, в данном случае, кровопролитная война, давала автору все новый и новый материал для повествования и осмысления; поэт шел за жизнью, не опережая ее и не отставая от нее. Но он не был бесстрастным летописцем, не был послушным копистом ее зигзагов. Духовный и жизненный опыт поэта, его великая вера позволяли ему и отбирать самое характерное и значительное в событиях войны, и угадывать в этих событиях вечный смысл. Впрочем, под словом «события» тут разумеются вовсе не боевые операции, не сражения, а эпизоды и происшествия фронтового быта. Для поэта было важно показать русского человека в буднях кровавой войны, за ежедневной смертельной ратной работой. Здесь проявлял солдат свою подлинную суть: свою решительность и осторожность, находчивость и бесшабашность, тоску по дому и безуныность, способность ко всем ремеслам и невозможность проявить ее в мирном деле. Творческий подвиг Твардовского состоял в том, что он открыл нам народный характер, так неповторимо и ярко проявивший себя на войне. В нем не было ничего плакатного или лубочного, расхожего или повторенного с других образов, приближенно-го или вовсе надуманного. Василию Теркину не чужд страх, он не стыдится собственных слез, у него может выгнать самолюбие. Но это именно тот богатырь-солдат, храбрый, великодушный, терпеливый, работающий, веселый, на которого надеялась родная мать-земля и который оправдал ее надежды:

*Богатырь не тот, что в сказке —  
Беззаботный великан,  
И в пехотной записке,  
Человек простой завадки,  
Что в бою не чужд опаски,  
Коль не пьян. А он не пьян.  
Но покуда вздох в запасе,  
Толку нет о смертном часе.  
В муках тверд и в горе горд,  
Теркин жив и весел, черт!*

...  
*То серьезный, то потешный,  
Нипочем, что дождь, что снег, —  
В бой, вперед, в огонь крошечный  
Он идет, святой и грешный,  
Русский чудо-человек.*

Теперь с высоты прожитых лет я, давнишний слушатель своего дяди-фронтовика, могу сказать: да ведь те стихи были про самого Василия Максимовича. Там многое совпадало. Мой фронтовик в закипавшей солдатской работе тоже мог скотлотить крепкий плот, соорудить блиндаж, а на привале — починить сапоги или рубашу. Он мог сыграть на гармошке, рассмешишь однопольчан, вытащить из-под огня волоком на шинельке раненого товарища. Он, как и его литературный тезка, был ранен, особенно тяжело в марте сорок третьего года, может быть, на том же пятачке обугленной земли, что и Теркин. А, пожалуй, самое главное, чем он был похож на Теркина, — это характером. Мой Василий шел строить избу или рыть колодезь всегда бесплатно. Годами кормил нашу перекатную голь супчиком из дичи (был удачливым охотником). Привечал за праздничным столом чуть ли не первого встречного. Мирил



враждующих, выступал везде и всюду признанным правдолюбом. Так что я прежде в жизни узнал, что Теркин — это герой самый достоверный, из народной гущи. И если признать утверждение автора, что

*...парень в этом роде  
В каждой ротте есть всегда,  
Да и в каждом взводе, —* то после войны можно было сказать, что «парень в этом роде» найдется в каждом селе среди уцелевших фронтовиков. Их были тысячи, десятки и сотни тысяч на русской земле, но заслуга-то поэта не в том, что он удачно «списал» с натуры своего Теркина, а в том, что он художественно нарисовал тип такого человека, русский национальный тип. Это была удача и счастье для Твардовского. «Книга про бойца», писал он, «дала мне ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».

И я не удивляюсь, что этот Теркин запомнился и полюбили и мне, и дяде Васе, и нашим односельчанам.

\*\*\*  
Твардовский имел обостренное чувство долга перед читателем, перед современником. О чем писать и как писать, перед кем держать ответ за слово — это всегда волновало художников, но в пору постоянного идеологического надзора (как и теперь, во времена постоянной лжи, фарисейства власти) — особенно. Ответ Твардовского так:

*Кому другому, но поэту  
Молчать потопки не дадут.  
Его к суровому ответу  
Особый вытребует суд.  
Я не страшусь суда такого  
И, может, жду его давно,  
Пускай не мне еще то слово,  
Что емче всех, сказать дано.  
Мое — от сердца — не на ветер,  
Оно в готовности любой:  
Я жил, я был — за все на свете  
Я отвечаю головой...*

Отвечать за все на свете головой поэт может лишь как частица народа. А вот за что он отвечает самолично, во всей полноте и строгости иска, — так это за правду каждой строки. Такого суда поэт мог не бояться.

По страницам поэм и стихов Александра Твардовского рассыпаны горькие слова правды. Уже спустя годы после войны, когда народ wurde бы захил, одет, обуи и накормлен, когда он расправил плечи для большой обновляющей работы, Твардовский не боялся напомнить власти и непроходящих бедах русской деревни:

*И я за дальней звонкой далью,  
Наедине с самим собой,  
Я всюду видел тетку Дарью  
На нашей родине с тобой;  
С ее терпением безнадельным,  
С ее избою без сени,  
И трудоднем пустопорожним,  
И трудночю — не полной;  
С ее дурным озымным клином  
На этих сопках под окном;  
И на печи ее овинном,  
И среди избы гуном;  
И ступой — мельницей домашней —  
Никак, из древности седой;  
Со всей бедой —  
Войной вчерашней  
И тяжкой нынешней бедой...*

А в поэме «Теркин на том свете» за четверть века до иудиных делишек горбачевых и ельциных он точно угадал, как они заменят прежнюю Систему своей, пригодной для личных выгод их шайки:

*Кадры наши, не забудь,  
Хоть они лишь тени,  
Кадры заняты отнюдь  
Не в одной Системе.*

...  
*Да по всяческому Столам  
Список бесконечный,  
В Комитете по делам  
Перестройки Вечной...*

Эту поэму идеологические надсмотрщики встретили зубовным скрежетом. Именно потому, что в ней было много правды. В том числе и о них. Творчество Твардовского основано на правде всеохватной, всеобъемлющей; он честен и точен в каждой мелочи жизни, над ним не властны ни кнут, ни пряник. Твардовский — один из тех редких поэтов советского времени (а по масштабу таланта, может быть, и единственный), кто, говоря о жизни страны, о тяготах своего времени, не издал ни одного неверного звука, не погрешил против совести. И свою правоту, свою «тайную свободу», о которой говорил Пушкин, Твардовский отстаивал без боязни:

*Я сам дознаюсь, доищуся  
До всех моих просчетов.  
Я их припомню наизусть, —  
Не по готовым нотам.  
Твардовский верил в Россию, ее великий путь. Эта неистребимая вера прошла испытание двумя войнами, «босотой и наготой» тридцатых и сороковых годов, невиданным всплеском народной энергии в последующие десятилетия. Видя все это не со стороны, а из самой гущи погибающей и возрождающейся жизни, поэт говорил о своей вере, что называется, в полный голос, без тени сомнения:  
За годом — год, за вехой — века.  
За полосою — полоса.  
Нелегко путь. Но ветер века —  
Он в наши дует паруса.*

Враги России говорят: не оправдалось. Мы говорим: не торжествует. Рано вы торжествуете. Слово такого поэта всегда оказывается вещим.